

Александр Гольдштейн возвращается домой

В тамбуре последнего вагона
поезда Москва — Баку, отчалив от Кизил-юрта,
синие зрачки Севера-деспота
пляшут за кормой в грязном окошке,
прячутся, выпрыгивают снова,
скачут по шпалам, лучатся путевыми
семафорами на разъезде, в лесу рельс,
расходящихся, сливающихся в полюс
Лобачевского, по лесенке шпал
можно покорить Арктику.
Худющий, как ветка, ушастый парень,
с залысинами под пышной шевелюрой,
обкуренный в дымину, с бородавкой на веке,
вдруг внешне — вот ведь чушь, ничего общего,
но что-то такое мелькнуло, — этот парень
напомнил мне Александра Гольдштейна:
стоит, нервничает, выглядывает в щелку —
в вагонный коридор, где дагестанские менты
проверяют документы, досматривают багаж.
Палец у одного на курке "калаша",
глаза ошалелые бегают, другой
подымает каждого пассажира стоймя,
тычет в скулу разворот паспорта.
"А что это — родинка? Откуда? Тут есть, там нет.
Где паспорт получал, Магомед-ага? Садись, отдыхай.
Теперь ты. Домой едешь? В гости? Где паспорт получал?"

Здравствуй, Саша! Вот таким макарком
везу тебя на родину. Распяли нас эти двое суток.
Тяжело мне, тебе чуть проще:
ни вони ста мужиков, ни духоты, ни стука
сердца — ты летишь со мной на третьей полке...
Вниз лицом, то подмигиваешь или киваешь,
или повернешься навзничь, на груди сложишь руки,
закроешь глаза, и я испугаюсь...

Ты знаешь, что я заметил?! Послушай!
За эти семнадцать лет разболтались рессоры
подвижного состава, и колеса стали выть на поворотах, —
долго-долго тянется поезд, меня азимут,
из последнего вагона видно, как локомотив
набегает вспять окоему, и солнце
падает в скрипичный вой колес. Этот вой
разнимает, колесует душу, тревога, подкравшись,
вдруг схватывает ее, как птицу хищник,
на такое способна только музыка:
залить горем или счастьем сердце,
минуя культуру и восприятие, минуя разум,
музыка — это открытый массаж сердца.

Такого я не слышал в детстве, в детстве
колеса стучали весело, или — на мосту: значительно,
или вкрадливо — при отправке, разболтанно — на перегонах,
а при въезде на станцию тише, нежнее —
здесь шпалы ухоженнее, затянуты гайки, путейцы
здесь подтягивают их чаще и добросовестнее,
а к середине перегона уже устают, садятся квасить.
Так вот — вдали от детства колесный вой, Саша,
ты слышишь? Он выворачивает душу, запомним
этот стенающий хор. Колеса плачут по ком, Саша?
Господи, как же съели нас эти двое суток.
Левый рельс проходит через ухо,
правый — штопает глаза. Народное мясо
мнет и жмет, и воодушевляет. Сосед —
год не видел жену, двух детей, работает
таксистом в Москве, знает трассы столицы
лучше меня, — вдруг забирается с ногами,
припадает лбом к подушке, мы затихаем, вслушиваясь,
как он бормочет молитву; его носки в этой позе
воняют особенно. Затем он соскакивает, воздевает
глаза горе и вполголоса в сторону, для меня:
"Все народы Аллах создал для того,
чтобы они стали мусульманами", — и снова
берется за кроссворды; детям он везет конфеты
и сумку китайской вермишели.

В купе
с нами едет еще старик — Мирза-ага, из Гянджи,
опрокидывая стопку за стопкой "белого чая",
он называет нас мальчики, сужденья его мягки,
глаза смиренные, и весь он округлый, тихий, но
заводится с пол-оборота, когда
спрашиваем, где служил в армии,
Советский Союз, молодость, загорается, полощется стягом
в его зрачках, и он повествует нам про венгерский мир
образца пятьдесят шестого года. Он попал
в Будапешт, еще не приняв присягу,
семьдесят два человека, все кавказцы,
ходили всюду под конвоем — на плац и в баню,
автоматчики с собаками плотнее сбивали строй,
как мусорную кучу веник. В Ужгороде их одели
в старые мундиры, — в пятке гвоздь, без одного погона.
Погрузили в теплушки, высадили в Дебрицах, через неделю.
Все думали — Ташкент. Старый кашевар
заварил солдатам двойной паек, кормит, плачет:
"Третью войну я уже кормлю, все ей мало.
Это моя третья смерть. Берегите себя, сынки.
Не верьте венграм, даже их деды в вас будут стрелять".
Три года Мамед-ага служил в Хаймашкере,
ходил по девкам, те принимали его за цыгана.
Кругом фермерские хозяйства, поля паприки,
сбор красных лампочек, горящих у щиколоток,
тугих, всходящих к бедрам, с подоткнутыми подолами,
полные горячей крови руки над краем корзины, —
а также яблочные сады, алма — "яблоко" — на
азербайджанском, так же и на венгерском.
— Церетем кишлянк! — Девушка, я люблю тебя! —
говорил Мирза-ага своим ангелам, и они отвечали:
— Катунa, катунa! — Солдатик, солдатик!
Эти мясистые ангелы и поныне не покидают Мирзу,
он весь светится, когда их целует,
произнося вместе с ними полузабытые слова:
— Церетем кишлянк!

Здравствуй, Саша! Вот так я везу тебя домой,
в твое провинциальное болото, ты кривишься,
не желаешь, но я упорен в нашем возвращении,
и снова тяну тебя в прокуренный тамбур, —
все равно ты лишен обонянья, — смотри, как пляшут
за окошком рельсы, как полна луна над равниной.
Ты любишь луну, свою девочку, свою ненаглядную?

Москва

От редакции. В 2009 году в Литературном музее проходил вечер лауреата премии "Русский Букер" Александра Иличевского. По просьбе нашего альманаха он прислал из Москвы эти стихи, посвященные памяти писателя Александра Гольдштейна, лауреата премий "Русский Букер" и "Антибукер", умершего в 49 лет.

